

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Осень. Мерзло. Над рекою ночь. На небе ни звездочки. В окопах темно и сыро, как в могиле. Жутко. Пахнет землей, гнилью.

Наша рота стоит под Ново-Червищем, на берегу Стохода. Впереди нас от самой реки слышится тихое позвякивание лопат и кирок: это саперы роют окопы. Позади погромыхивает артиллерия, пробирающаяся на свои позиции. Слышно, как ругаются «ездовые» и «номера». Кругом ночь, бездорожье, топи. Лошади по самое брюхо проваливаются в жидкую болотную грязь.

— На помощь!

— Эй, сюда! На помощь!

Идем помогать. Целыми взводами впрягаемся в постромки, цепляемся за колеса, подталкиваем под лафеты и с трудом выволакиваем орудия на сухое место.

— Трогай!

— Н-но, голубушки!

Артиллерия ковыляет дальше. Проводив ее, возвращаемся на свои места к пулеметам, закуриваем и тихо разговариваем.

На утро ждем боя. Вчера был получен приказ:

— В случае подхода неприятеля к Стоходу — дать сражение. Не отступать. Любой ценой задержать врага на берегах Стохода. В случае успеха форсировать Стоход, перейти в контрнаступление.

Впереди Стоход и немцы, позади — болота, по бокам тоже болота. Перед нами задача:

— Умереть или отбросить врага!

Немцев пока нет. Но наша разведка сообщила, что они только что заняли Ратно, разбили нашу пехоту под Камень-Каширским и под утро должны быть на Стоходе.

Ждем наступления. А пока что сидим в окопах, проверяем, чистим пулеметы и «по пути» уничтожаем неприкосновенный «боевой» запас: банку мясных консервов со «святым духом», а проще — испорченные, и сухари.

Рады бы не есть этот «запас», но больше у нас нет никакой пищи. Вот уже вторую неделю нас кормят одной чечевицей и горохом. Голодно. А последние сутки нам не доставили даже гороху: обозы и кухни где-то застряли, и мы второй день сидим полуголодные.

Вместо Буренова у нас другой командир — Николай Иванович Коваленко: молодой, двадцатичетырехлетний прапорщик, полный «Егорьевский кавалер», заслуживший в боях все четыре степени серебряных георгиевских крестов.

2

Проходит ночь. Небо становится серее. По восточному краю горизонта кто-то, словно неумелый маляр, мазнул краской, чуть-чуть задев краешек облаков. Тихо. В утренней полумгле ясно видна

серебро-свинцовая лента Стохода. Белеет мост. Чернеет между кочками дорога.

Начинался день. По небу брызнули солнечные лучи. Сотнями огоньков заиграла река; за сверкали омытые росой кустарники, вдали над Пинскими болотами клубились туманы. Подул ветерок, подергивая воды Стохода мелкой рябью...

— Бум! Бах!

В воздухе разорвались белые шары. Легкий свист, грохот, взрыв — и на берегах Стохода поднимаются зловещие столбы земли.

— Эх, чорт! Здорово...

Часам к семи утра орудийная канонада с нашей стороны стала реже и, наконец, прекратилась совсем. Наступила томительная тишина.

Проходит полчаса, час. Тишина становится невыносимой, она начинает действовать на нервы хуже чем бомбардировка.

— Идут! — крикнул Коваленко, отрываясь от бинокля.

На левый берег, точно волна на песок, выкатилась цепь немецкой пехоты. Следом за ней — вторая, третья... Вскоре весь берег был усыпан неприятелем. Немцы шли в атаку. На фоне неба, лугов и лесочка тонкими иглами поблескивали штыки. Мутно-зелеными пятнами выделялись шинели. Черные стальные каски сливались в сплошной массив, фигуры солдат казались безголовыми...

Мы несколько раз пытаемся открыть огонь, но Коваленко категорически запретил нам стрелять без команды.

— Ждите! Надо бить без промаха!

Ждать пришлось недолго. Встреченные редким недружным огнем нашей пехоты, немцы подтяну-

лись к берегу и под обстрелом начали переходить Стоход.

— Огонь!

— Есть огонь!

Мы открыли по Стоходу бешеный перекрестный огонь. Частая чечотка наших пулеметов не умолкала ни на одну секунду.

Наступление было отбито. Немцы отошли за Стоход к лесочку. Тогда по склонам правого берега из окопов выкатилась наша пехота.

— Ура! Ур-ра-а! — кричала серошинельная масса людей и, подняв над головами винтовки, с разбега бултыхались в воду, плыли, мокрые карабкались на левый берег, окапывались там и открывали ружейный огонь.

— Дураки! — ругался Коваленко. — Куда пошли? Куда погнали вас, бараны!..

И верно. Стой наша пехота на правом берегу, поддерживай ее артиллерия и наши пулеметы — позиции Стохода были бы неприступны для врага. Получилось наоборот. Наше командование, увидя, что немцы отступили, отдало приказ:

— Форсировать Стоход. Перейти в наступление.

И это явилось причиной нашего разгрома на Стоходе.

Получилось что-то непонятное. На помощь пехоте двинули подкрепление. И вот, в то время, как с левого берега бежала разбитая пехота, с правого шли свежие войска, и вся эта многотысячная масса солдатни сошлась на Стоходе.

Головотяпство русского командования, думавшего штыком и грудью солдата выиграть сражение, сделало свое дело: около шести тысяч раненых и убитых нашли себе жуткую могилу в воде и на берегах Стохода.

Осень 1916 года. День 21-го октября. Торжественный праздник восшествия на престол царя Николая II.

В этот день в России гудела колокольная медь; разноцветными огнями сияли церкви; мигали свечи; базили дьяконы, попы:

— Государя и императора-а-а нашего-о-о-о!

Но это было там, в России.

А здесь?

Осень, холод, тьма и ночь. С неба сыплется мокрый снег. Под ногами — вода, слякоть. Пронизывающий ветер — злой, резкий, валом накатывается на окопы, валит с ног человека, забирается за шиворот, лезет под шинели...

Наша «компания» стоит в «секрете». Знобит. Мы кутаемся в башлыки, топчемся на месте, толкаем друг друга, играем в «кота», но ничего не помогает: нам холодно, мы дрожим.

Где-то недалеко от нас разорвался снаряд. Крики, стоны... Опять тишина. Мы еще плотнее прижимаемся к стенкам окопа, ниже нагибаем головы и думаем: «Ну, сейчас наша очередь...»

Подходит полночь. Мы устали. Тело налилось какой-то свинцовой тяжестью. Немеют ноги. Скипают глаза. Озябшие руки не держат винтовок. Хочется спать. Но спать нам нельзя: мы находимся на первой линии фронта, и нам надо дожидаться смены. Ее нет. И мы из души в душу ругаем все: начальство, погоду, товарищей, всех.

Наконец вдали послышался разговор, зачавкала грязь. Это смена. Подошла. Разводящий принимает от нас «секрет». Мы молча меняемся с пришедшими местами и уходим.

В темноте кое-как мы добрались до своих окопов, залезли в блиндаж. Здесь потеплее. Но и тут нам не удастся устроиться как следует. На полу блиндажа вода. Мы ложимся, как были, в мокрых шинелях и сапогах на грязную солому и минут через пять по блиндажу уже несут дружный храп.

.....
Просыпаюсь. В блиндаже крик, шум. Кто-то пинает меня сапогом в бок. Очухался, слышу голос Шарагина.

— Иван, вставай! Вставай скорее!

— Зачем? Чего?

— Наступление!

Сна как не бывало. Вскакиваю. Чувствую: екнуло в груди, чаще забилося сердце, пот прошиб... Зачем-то ползаю по земле и дрожащими руками чего-то шарю в соломе.

Выходим на волю. Кругом темно. Ни выстрела, ни звука. С трудом различая в конце окопа группу солдат, направляемся к ним. Подходим. Среди солдат стоит наш новый ротный командир Пигузов и, размахивая руками, говорит частым прерывающимся шопотом:

— Ребята! Вот что. Завтра — торжественный праздник: день восшествия на престол государя императора. Давайте вдарим по германцу в штыковую. Вдарим! Хе-хе-хе-с! Вдарим с перцем, напролом, в штыки, напором р-раз! — и крышка. Накроем их, колбасников, сшибем с позиций, а завтра и праздничек можно будет встретить.

Пигузов хихикнул и замахал руками:

— В бой пойдем со мной. А меня вы знаете. Ну, вот. Мы не одни пойдем. А немцы... У них лазутчики были. Говорят, что они даже не ждут нас.

Словно молоденький петушок на забор, Пигузов выскочил на бруствер окопа, выхватил свою саблю и скомандовал:

— За мной!

Вылезли. На бруствере стоит наш «отец» Макарий. Ветер растрепал у старика бороду и волосы, раздул парусом рясу. В одной руке у «бати» шапчонка серая солдатская, в другой — распятие. Он благословляет нас на подвиг ратный большим медным крестом и сыплет своим беззубым ртом слова утешения и спасения солдатских душ:

— Во имя отца и сына и святого...

Пигузов перекрестился, надел фуражку и скомандовал:

— Вперед!

Сомкнутым строем мы пошли в ночное наступление. Вперед нас уже были посланы саперы и подрывная рота для прорыва неприятельских проволочных заграждений. Мы же должны были решить задачу самого боя.

Прошли версты четыре. Вдруг позади нас раздался одинокий орудийный выстрел — сигнал к атаке. Вслед за выстрелом в воздух взлетела ракета. За ней — вторая, третья... Все небо озарилось фантастическим заревом бенгальских огней, и в этих огнях, в полуверсте от нас появились черные силуэты немецких окопов.

— Бего-о-ом!

Быстро берем винтовки «на-руку», ускоряем шаг, бежим. Грянуло «ура», и взревела ночь, раскинулось по полю эхо тысячеголосое, дрогнула земля и, как будто, небо раскололось от крика:

— Ур-ра-а-а!

Путь перед нами свободен. Проволочные заграждения изрезаны, прорваны, смяты. Сплошной

стенной мы обрушились на немецкие окопы, закидали их гранатами и бросились в штыки.

— Ура-а-а!

Страшным неожиданным ударом мы заняли первую линию неприятельских окопов, перебили и перекололи сидевших в них немецких солдат и, устлая свой путь мертвецами, двинулись дальше.

Я бежал вместе с другими, не чувствуя под собой земли, бешено стиснув зубы и винтовку, не видя ни врагов, ни своих товарищей...

— Иван!

Оглядываюсь — около меня Бураков.

— Живой еще?

— Живой! А ты?

— Эге! Айда! Убьют, так вместе...

Побежали рядом.

Вторая линия немецких окопов встретила нас сильным заградительным огнем пулеметов. Наши цепи стали редеть. Но нас уже нельзя было остановить. С диким ревом, с криками «ура» мы ломались напролом, уничтожая укрепления, окопы, людей...

— Ого-о-й!

Вбежав на бруствер, мы бросили куда-то погранате, обождали, пока они разорвутся, и вместе с другими спрыгнули в траншею.

И тут случилось что-то такое, что я и сам не помню.

Но это случилось.

Я бежал вслед за Бураковым вдоль разрушенного нами окопа. Под ноги попадались мертвые. Было темно. И вот из-за какого-то углубления окопа выбежал немецкий солдат.

— А-а! — крикнул Егор и побежал за немцем. Тот, спасаясь, прыгнул было на бруствер, хотел

вылезть наверх, но сорвался и беспомощно повис на краю окопа.

В пять-шесть прыжков Егор догнал немца, размахнулся, подался вперед и всадил в тело солдата штык. Охнув, немец обрушился вниз, задел при падении Буракова, смял его, и оба они покатались по дну окопа.

Удар Буракова для немца был, видимо, смертельный: он приподнялся с земли, вцепился в Егора и, рыча, старался нанести удар.

Силы были неравные. Егор встал на ноги, схватил свою винтовку и ударил немца по голове прикладом.

В это время над нами вспыхнула парашютная ракета и, рассыпавшись, заливая своим бледно-матовым светом окопы, начала спускаться.

Егор поднялся с земли и, заглянув в лицо убитого им немца, пошатнулся, растопырил руки, шагнул шага два-три ко мне и страшно прохрипел:

— В-ван-ня... Ганс!

Перед нами, с раскроенным черепом, весь облитый кровью, лежал наш «пленный», наш друг и товарищ по войне—Ганс.

Егор катался около Ганса по земле и ухал:

— У-ух! Ох! Ганс! Ребята!

4

Утром, когда оставшиеся в живых солдаты вернулись в свои окопы, Егор Бураков стучался, как баран, головой об стенку или тихонько, покачиваясь из стороны в сторону, закрыв лицо руками, стонал.

Мы как могли утешали его.

— Брось, Егор, брось, милый... Ведь ты не знал, что это — Ганс.

— Уй-ди-те! — застонал Егор и повалился на солому, приподнялся, обвел нас мутным взглядом. — О-о, гады! Хватит! Я им душу выну! Выну! Ха-ха-ха!

И опять упал на солому, дико хохоча и ковыряя ногтями мерзлую землю.

...Часов в десять утра в окопы пришло, во главе с Нелькиным, полковое начальство поздравлять нас с праздником.

Вошли в наш блиндаж.

— С праздничком, братцы!

Мы вскочили, встали во фронт и рывкнули:

— Покорнейше благодарим, ваше высокоблагородие!

После этого Нелькин подходил к каждому из нас, подавал по чарке водки, приговаривая:

— За здоровье государя императора!

Очередь дошла до Егора. Он лежал в это время на соломе и даже не пошевелился, даже глазом не взглянул на полковника.

Нелькин налил чарку:

— Ну-ка, солдатик, за здоровье государя.

Бураков встал и, сжав кулаки, подался к Нелькину.

Мы было подбежали к Буракову, хотели остановить, но было поздно.

Егор всхлипнул, захлебнулся, выпрямился, ахнул и словно гирей двинул Нелькина кулаком по переносью.

Полковник, даже не охнув, грузно упал на землю. На Буракова набросились офицеры из свиты Нелькина, но он раскидал их по блиндажу, вырвался и страшный, весь облитый кровью, подбе-

жал к пирамиде с оружием, выхватил винтовку, вскинул ее на руку, перекрестился, и не успели мы глазом моргнуть, бросился на Нелькина и с разбега всадил ему в брюхо штык.

Заскрежетала, разрывая человеческую кожу, гра-
ненная сталь штыка. Брызнула кровь. А Егор рва-
нул винтовку назад, вынул из раны штык, раз-
махнулся и опять всадил его в полковника.

Убедившись, что полковник уже мертв, Егор
отбросил в сторону винтовку, поднял кверху ру-
ки и тихонько улыбнулся:

— Вот! Теперь берите...

Офицеры сшибли его с ног, связали. Егор не
сопротивлялся. И пиная сапогами и ударяя нож-
нами шашек, потащили нашего друга из блин-
дажа.

5

Егор был предан военно-полевому суду. Суд
был скорый и милостивый. Приговор гласил:

Рядового пулеметчика 21-го Сибирского ее вели-
чества стрелкового полка Егора Буракова приго-
ворить к расстрелу перед строем своего полка.

.
Был полдень. Мы только что пообедали и не
успели еще отдохнуть и закурить после обеда,
как десятки барабанов прогремели тревогу, и ми-
нут через десять весь полк был выстроен в по-
ходную колонну и его марш-маршем потнали за
деревню, к небольшому лесочку, на опушке кото-
рого были видны еще свежие братские могилы и
торчали новенькие деревянные кресты.

На кладбище шла работа. Взвод саперов, окру-
женный офицерским конвоем, рыл новую могилу.

На место казни прибыл генерал Скрементов. Он прогарцовал вдоль строя на вороном коне, потом соскочил с седла, обошел кругом могилы, посмотрел в нее и встал около столба, попыхивая папирской и небрежно сбрасывая в могилу табачный пепел.

Застыли солдаты. Стоим, ждем. Ждем долго, мучительно долго. Наконец послышался общий вздох и редкие голоса.

— Ведут, ведут!

К кладбищу под усиленным конвоем вели Буракова. Егор шел тихо, опустив на грудь свою голову и заложив за спину руки. Когда его проводили мимо нас, он поднял голову, посмотрел на нас и тихо улыбнулся.

Конвойные поставили Егора на краю могилы.

— Смирно! Полк, три шага вперед-арш!

Шагнули. И так стояли мы друг против друга: Егор—прощаясь со своей жизнью, а мы—со своим товарищем.

Кругом стояла тишина. И вдруг, разрывая эту тишину, по кладбищу разнеслась громкая дробь барабанов. Еще раз дрогнули ряды полка. Дрогнули и застыли.

Перед строем вышел генерал Скрементов. Он потоптался на одном месте, оправил на себе шинель и густо пробасил:

— Справа на десять номеров — рассчитайся!

По строю с правого фланга пошла переключка:

— Первый! Второй! Третий!

Очередь доходила до меня. Рядом со мной голоса:

— Восьмой! Девятый!

— Д-де-ся-я-тый! — крикнул я и как-то сразу холодно и жарко стало.

Скрементов подошел ближе.

— Десятые номера, три шага вперед-арш!

Шагнули десятые. Вышло человек сорок. Нас выстроили в особую колонну и поставили против Егора Буракова.

Егор стоял на краю своей могилы, широко раскрыв глаза, не моргая, смотрел на нас. Видно было, как у него чуть дрожало одно колено.

К Буракову подошел «отец» Макарий с распятием, он хотел благословить его, сказать ему «напутственное» слово, что «сам он умрет, а душа его незримо поднимется по лестнице на небеса, в обитель райскую», но Егор отвернулся от священника и тихо сказал:

— Уйди, батюшка...

Батюшка пожал плечами и смущенно отошел в сторону.

— Взвод!..

Мы вскинули винтовки.

В это время позади нас послышался тихий голос:

— Ребята! В кого стреляете?

Скрементов взмахнул саблей.

— Пли!!!

И не раздалось ни выстрела, ни залпа. Наш ряд молчал. Только видно было, как прыгали в дрожащих руках винтовки да тяжело, с хрипом дышали солдаты.

Забегало, засуетилось наше начальство. Громанюка тут же увели. Скрементов в расстегнутой шинели, без шапки, с наганом в одной руке и с карабином в другой, бегал в солдатском кругу и кричал:

— Стой! Ни с места! Стой! Весь полк под пулеметы положу!

Оглянулись. Кругом из-за каждого пригорка на нас смотрели тупые пулеметные рыльца. Около пулеметов, заправляя в них ленты с патронами, — офицеры.

— Огонь! — крикнул Скрементов. — Огонь!

Офицеры дали первый залп по воздуху.

Бураков не выдержал, разорвал на своей груди гимнастерку и крикнул:

— Ребята! Эх! Все равно... Скорее, ребята!..

Мы молчали. Егор заплакал.

И тогда из строя вышел Пигузов, вскинул к плечу винтовку, нажал курок.

Мы услышали выстрел — и... Егор покачнулся, взмахнув руками, рухнул в яму.

— Благодарю, поручик! — козырнул Скрементов.

Я взвыл и, не веря, не соображая, что Егор убит, с трудом стоял в строю.

6

В углу занятого нами немецкого окопа валяется пьяный немецкий офицер. Напился он до чортиков, даже встать не может и, ругаясь по-немецки, корячится в окопе, старается уползти и не может.

Офицер пьян, а соображает, что окопы заняты русскими, что он находится среди врагов, и поэтому, заслышав какой-нибудь шорох, притворяется мертвым: руки, ноги в стороны раскинет, голову как куленок свернет, зубы оскалит и лежит мертвец-мертвецом.

Убедившись, что все в порядке, поднимает голову и хочет встать. Не может. Кубарем катится на землю и лежит, видимо, соображая что-то.

— Ш-шить! — шикнул Андрюшка Шарагин и бросил в офицера комком земли.

Офицер опять притворяется мертвым. Нам интересно. Смеемся. Шарагин грозит нам пальцем и шепчет:

— Постой, ребята, постой. Чего он будет делать дальше?..

Уйти офицеру нельзя: кругом русские. Но слишком, видно, велико у человека чувство самосохранения, слишком велико желание уйти от смерти, остаться в живых...

Офицер ползет... И не знаю, чем бы кончилась эта «комедия», но неожиданно ее «испортил» Ахмет. Он уходил куда-то и теперь, возвращаясь обратно, прыгнул в окоп и направился к нам.

Немец заметил Ахмета; приподнимаясь на левом локте, навел на него дуло револьвера.

— Иван! — крикнул Шарагин. — За мной!

Я вскочил, схватил свою винтовку и побежал за Андрюшкой.

— Ахмет, берегись, Ахмет!

Ахмет не слышал. Офицер прицелился в него и только было хотел спустить курок, как Андрюшка рывкнул и всадил в офицерскую ягодицу штык.

— А-а! — закричал Андрей. — Вот тебя как, собака!

Узнав, в чем дело, Ахмет стал благодарить своих спасителей и замахнулся на офицера.

— Ага! Сейчас его башка на котелок пойдет!

— Стой, Ахмет, не надо!

Ахмет оставил офицера в покое. Но тот опять схватился за наган. Андрей отнял револьвер, перевернул раненого на бок и спустил с него штаны.

— О, ничего, ребята тебя чуть-чуть только кольнули. Ничего, сейчас мы тебя заштопаем.

Достал из своей аптечки индивидуальный пакет для перевязок и начал вынимать марлю, бинты, вату...

7

По пути в лазарет мы встретили Латыша. Худой, багрово-синий, с прикушенным языком и заострившимся носом, он лежал на опушке леса. Около него суетился доктор, стояли какие-то офицеры, поп. Четыре солдата саперной роты рыли глубокую яму.

Мы подошли ближе. Один из офицеров подбежал к нам и, размахивая карабином, закричал:

— Назад! Назад...

Пришлось вернуться. Но мельком мы увидели своего друга. Он был без ноги. На шее—веревка из бинта. И сразу острая мысль пролетела в голове: «245-я статья?!»

Дело вышло так. С неделю назад Латыш был положен в полевой лазарет.

Ему назначили операцию. Принесли его в операционную палатку, положили на стол, развязали ногу. Распухшая, сине-багровая, она была страшная.

Доктор взял со столика блестящий ланцет и склонился над ногой. Нажал. Латыш застонал, но тотчас же стиснул зубы и страшным усилием воли подавил в себе невыносимую боль.

— Что у тебя с ногой?

— Не знаю, доктор. Заболела и заболела...

— Гм. Ну-ка, посмотрим...

Спокойным, привычным движением руки доктор

чиркнул лезвием операционного ножа на ногу — от колена до ступни.

— Больно?

— Нет, доктор.

Тогда врач сделал еще два-три надреза. Брызнула кровь. Потек гной... И все — мясо, ткани, кожа на ноге Латыша разлетелись на мелкие клочья. Обнажилась кость. Запахло гнилью...

— Что за чорт! — испугался доктор. — Что за болезнь? В первый раз за всю войну встречаю такую вещь.

Копаясь в лоскутках мяса, доктор быстро нагнулся, встал на колени, наклонился, потом схватил пинцетом какую-то серую жилку, вытащил ее и несколько минут разглядывал.

— Что такое?

Латыш спокойно поежился.

— Что? Сами видите...

Было понятно без слов. Перед лицом доктора, зажатая пинцетом, зеленая от гноя, болталась толстая суровая нитка.

Врач брезгливо понюхал ее, поморщился:

— Что такое? Почему керосином пахнет, а?

Латыш горько усмехнулся:

— Доктор, неужели не поймете?..

Доктор бросил нитку в таз, плюнул, вымыл руки, подошел к Латышу.

— Ну, чего добился, а?

— А что?

— Двести сорок пятую статью.

Двести сорок пятая статья...

Солдаты! Кому из нас была не знакома 245-я статья, карающая за умышленное членовредительство каторгой и даже смертной казнью?

Много «номеров» выкидывали некоторые сол-

даты по части членовредительства. Но рекорд в этом отношении побил член нашей «компании» пулеметчик Латыш.

Как-то перед сном, накрываясь своей шинелью, Латыш сообщил нам:

— Ну, ребята, последнюю ночь ночую с вами...

— Как — последнюю?

— Так. Завтра домой уеду. В Латвию.

Слушаешь его бывало, и как наяву перед глазами вставал этот суровый и далекий край.

Бледное северное небо. Холодная, невеселая и штормовая Балтика. Голые песчаные дюны на берегу моря. Сосны с ветвями, растущими только с южной стороны. Скупые поля. И мыза — чистенькая, с красной черепичной крышей.

На мызе строгий хозяин в вязаном жилете, гордая жена хозяина и его хорошенькая дочь, не замечавшая бедного батрака... И среди этих гордых и чужих людей была «она» такая же, как и он, батрачка, здоровая, широкоплечая, с большими сильными руками, девушка.

Сначала она была робкая, застенчивая. Первый поцелуй она подарила ему на сеновале, куда он залез за сеном, а она — собирать по куриным гнездам яйца.

Один только, один поцелуй — и война. Пусть война. Теперь он спокоен за нее. Он знал, что сейчас к ней не смеет подойти ни один из парней Латвии, он знал, что она любит его, а он — ее, и никто на свете не сможет разлучить их.

...Я вижу возлюбленную нашего друга.

Вот она идет по дворику мызы с ведром молока в руках. На ней белоснежный чепец, вязаная шерстяная кофта и такая же юбка.

Правда, кофта и юбка — старые, а чепец из тол-

стого грубого холста, но он выстиран и выглажен не хуже, чем у самой хозяйки мызы, которая ходит в хороших платьях и в батистовом с кружевами чепце.

— Смотри,— говорила она,— не полюби там на войне какую-нибудь русскую... Смотри, милый.

И плакала и грустно улыбалась ему на прощанье.

Наш Латыш провел всю войну незаметно. В бою был спокоен. И там, где другие брали риском, Латыш добивался хладнокровием. За время войны он заслужил четыре серебряных креста, стал «Егорьевским кавалером» и говорил:

— Я сохраню их как память о годах моих страданий. Я сохраню их и, если у меня будут дети, я повешу эти кресты на стену и скажу моим детям: «Смотрите, дети, на страдания вашего отца!»

Латыш не любил много говорить. Больше всего он молчал, покуривая свою трубочку. А если надо было сказать, говорил кратко:

— Я батрак. Кончится война, уеду в свою Латвию, опять батраком буду.

Наш Громанюк два или три раза пробовал заговаривать с ним по-своему. Но Латыш только улыбался и, попыхивая своей трубочкой, спокойно говорил:

— Нет, Максим. Нет. Не мое дело судить об этом. В бою я сохраняю свою жизнь. Я не убью, меня убьют. Я не хочу быть убитым. Я дождусь конца войны и уеду в свою Латвию.

И вот в Выдраннице Латыш сообщил нам:

— Последнюю ночь ночую...

Мы не удивились. Спросили только:

— Бежать хочешь?

— Нет, ребята. Так отпустят...

— Почему?

— А нога у меня...

Несколько месяцев назад Латыш взял суровую нитку, скрутил ее в тоненький жгутик, пропитал его керосином, проткнул парусной иглой в подъеме правой ноги дырочку и вставил в нее, как фитиль, нитку.

Нога распухла. И ни один врач не мог установить причину его болезни. А Латыш только подмигивал:

— Лоб расшибут доктора, а не узнают!

...Минут через пятнадцать нога Латыша была отрезана напрочь. Доктор бросил гнилые куски мяса и кости в таз, вымыл руки и принялся зашивать рану.

— Ну, что, что мне с тобой делать, а? Сообщить? Ведь на каторгу пойдешь.

А Латыш лежал на столе и спокойно говорил:

— Каторга? Ну и что же? Что в ней страшного? Здесь хуже каторги. Судите меня, доктор. Я в вашей воле.

.....

Латыша судили по 245-й статье за «умышленное членовредительство».

Приговора он не дождался. Ночью он сорвал с ноги бинт, сделал из него петлю, привязал ее к спинке больничной койки и повесился.

8

В окопы пришла почта. Шарагин получил два письма себе и Ахмету.

Сел читать. Поклонов и пожеланий Андрюшке, видимо, прислали верст на двенадцать. С полчаса наверное он читал их и улыбался.

Пришел Ахмет.

— Андрей! Давай, давай скорее...

— Чего?

— Письма, письма мое!

— Пляши, тогда отдам.

Ахмет наверное с полгода не получал из дома писем. Скучал, тревожился... И теперь, видя в руках Шарагина драгоценный конверт, ударил в ладоши и прошелся перед своим другом в пляске.

Сплясав, Ахмет вырвал у Андрея пакет и весь просиял:

— И-эх, ребята! Байрам миня сегодня, праздник.

Присев на корточки, Ахмет начал улыбаясь разрывать конверт. И казалось, от его улыбки в окне стало как-то светлее. Стал читать. В глазах любопытство, на губах улыбка. Ахмет рад. Но, углубляясь в чтение письма, он постепенно стал меняться в лице: улыбка пропала, в глазах показались слезы.

— Ты что, Ахмет?

Письмо выпало из его рук, а он побледнел, зажал голову, повалился на землю и заревел.

— Ахмет! Ахмет, что с тобой, милай?

Ахмет валяется по земле, воет и тихо просит:

— Иван, давай миня вода... Вода, пожалуйста...

Я налил из фляжки манерку воды. Ахмет пьет, стуча о край манерки зубами, и всхлипывает.

— Ребята! Пропал моя башка теперь...

— Зачем? Чего случилось?

Ахмет только рукой махнул.

— Баба миня в деревне помирал. Двор-та сирота остался. Скотинка-корова была, отбирал яво податной инспектор, недоимка меня бил там. Баба одна бился, бился... Ой! Пропадал моя башка...

Совсем пропал! Зачем я живой теперь оставался? Зачем? Детишка-то мой по миру таперь пошел... Кто подавать-то будет, а? Эх-х! Суфья — маленький, маленький дочь, что она делать-то будет? Ой, несчастный мой башка...

Ахмет плачет. Мы, как можем, утешаем его. Андрей ухаживает за ним, как за маленьким ребенком. Я жадно курю и говорю Ахмету:

— Ладно, друг, не плачь. Как-нибудь поправим дело. Бери давай письмо, пойдем к начальнику штаба, может отпуск дадут тебе, домой на недельку отпустят.

Солдаты поддерживают Ахмета:

— Ну, как по такому делу не пустить...

Мы, солдаты, понимали горе Ахмета. Когда он ушел в штаб хлопотать об отпуске, Андрюшка Шарагин обошел окопы, и солдаты набросали ему целую шапку денег. Давали охотно. Солдаты понимали горе Ахмета. Но в штабе, несмотря на убедительные просьбы и слезы Ахмета, ему отказали в отпуске.

Вернувшись из штаба, Ахмет отвечал скупю:

— Сволочь там сидит.. Сволочь. Я и просил яво, я и плакал, я и в ногах яво валялся — не пустил.

Мы утешаем Ахмета, советуем ему не падать духом, но он и слушать нас не хочет.

— Эх, ребята! — машет он рукой. — Что вы миня сказка-то поете, а?

Прошла неделя. Однажды, вернувшись утром из «секрета», мы не нашли Ахмета.

На четвертый день его поймали. Не зная дороги, он плутал эти дни по фронту, и его задержали в обозе, верстах в сорока пяти от позиций.

В ночь перед наступлением нас погнали рыть

окопы. Рыть пришлось на открытом поле, на виду у немцев. Работали всю ночь. А утром, когда окопы были вырыты больше чем наполовину, нас заметил немецкий дозор и открыл пулеметный огонь.

Ахмет работал рядом со мной. Услыша выстрелы, он притаился, поглядел на меня, выругался и далеко-далеко швырнул свою лопатку.

— Ты что, Ахмет?!

— Э-э-э, что! Дома миня детишка голодный, по миру ходит, а я тут — могила себе копаем...

Вытирая рот, Ахмет высморкался и сел на землю.

— Хватит! Моя больше не воет!

— Что-о? — подбежал к Ахмету распорядившийся работами Пигузов. — Ты что это, Галеев?

— Ничаво! — огрызнулся Ахмет.

— Почему не роешь?

Вскочив, Ахмет вырвал у меня лопатку и, тыча ею в живот Пигузова, захлебнулся яростью:

— А-а-а! Тебя рыть надо? На, бери моя лопатка, рой. Вот, а миня — не надо.

Пигузов удивленно поглядел на Ахмета и даже отступил шага на два назад.

— Га-а-л-е-ев!

Ахмет не дал договорить ему. Брызгая слюной и размахивая перед носом офицера кулаками, он закричал:

— А-а, Галеев! Когда миня на деревне-то беда, я отпуск просил, миня не давал. Стрелять вас надо!

— Что-о-о? — побагровел Пигузов. — А ну на бруствер!

Ахмет спохватился, побледнел и испуганно забормотал:

— Нет-нет! Моя нарочно говорил... Прощай миня.

— На бруствер!

Ахмет дико завизжал:

— Тогда стрели меня... Вот здесь стрели!

Но Пигузов был невозмутим. Сжимая кулаки, он подошел ближе и двинул Ахмета по загривку.

— Арш, сукин сын, на бруствер!

Покорно, как автомат, Ахмет повернулся и, что-то шепча, вылез из окопа на бруствер.

Проходят минуты. Ахмет с осунувшимся зеленовато-серым лицом, с помутившимся взглядом все еще стоял на бруствере. И постепенно чувство страха сменилось безнадежной тоской и усталостью. Лицо у него покрылось потом; кончик носа заострился, как у покойника, губы запеклись, глаза подернулись какой-то мутной пленкой...

Глотая обильную слюну, Ахмет тихонько шептал:

— А-а-й, Суфья... Эх, Ибрай, Ибрай...

Немцы, увидя Ахмета, приняли его, видимо, за наблюдателя и открыли стрельбу. Ахмет вздрогнул.

— Ой, алла! Ай, алла, л-ля-илла...

Выстрелы со стороны немцев стали чаще. Ахмет дрожал. В это время откуда-то выскочил Андрюшка Шарагин и, размахивая шапкой, высунулся из окопа:

— Эй, камрады! Камрады, не стреляйте...

Ахмет встрепнулся, засмеялся каким-то сухим, трескучим смехом и тоже закричал:

— Не надо! Не надо стрелять...

— Кто кричал? — подбежал к нам Пигузов. — Что это такое? С неприятелем сноситься! Да я вам! Я вас...

Ахмет присел на корточки, спустил в окоп ноги и неожиданно тяжело упал на дно окопа. На затылке у него чернела маленькая дырочка. Крови вытекло мало. Шальная пуля, чорт ее знает откуда прилетевшая, пригрозила Ахмета.

9

Над окопами вставало холодное осеннее утро. Пахло кровью и трупами. Ветер приносил откуда-то этот острый, противный запах мертвецов, заполнял им окопы, блиндажи, заставляя зажимать носы живых солдат.

В это утро немцы открыли по нашим позициям артиллерийский огонь из тяжелых орудий.

И вот под этот огонь я решил подставить самого себя, чтобы избавиться от жизни, которая стала для меня ненужным бременем.

Шарагин, заметив, что со мной творится что-то неладное, глаз с меня не спускал. Караулил. Но разве можно укараулить человеческую мысль? И я, улучив минутку, бросил винтовку, крикнул: «Прощай, ребята!» — и, прежде чем ребята смогли сообразить, понять и остановить меня, выпрыгнул из окопа, распахнул шинель и почти бегом пошел вперед.

Впереди меня — ад. Я иду навстречу этому аду. И вдруг, я и сам не знаю — как это случилось, у меня потемнело в глазах, закружилась голова и разом исчезло поле, фронт, война, окопы...

...Цветет весна. Надо мною голубое, безоблачное небо. Светит солнце. Тепло. Весенний воздух будто крошит какими-то золотыми нитями.

Я в лугах. Над ослепительно яркой зеленью трав живыми цветами порхают бабочки; мимо

меня, словно разноцветные лепестки, проносятся, трепеща своими крылышками, стрекозы, поют птицы, жужжат золотистые пчелы, трещат кузнечики... И среди этой красоты, путаясь в высокой траве и переваливаясь словно утенок, ко мне бежит моя дочь Валя.

Бежит девочка, бежит моя Валяшка, блестя своими голубыми глазенками, с цветами в русой головенке, бежит, спотыкаясь, падая, протягивает ко мне свои ручонки и лепечет:

— Пап-ка! Пап-ка! Не надо, не надо, папочка...

— Валя! Дочь! Милая моя малютка...

Жить! Во что бы то ни стало — жить! Жить для тебя, жить для своих товарищей.

Жить хотел. А сам лежу на поле сражения, под орудийным огнем, в одной секунде от смерти и ни рукой, ни ногой пошевелить не могу. Лежу и сквозь грохот сражения слышу чей-то голос:

— Ваня! Ванька...

Машинально поворачиваю голову, вижу: ко мне ползет Шарагин. Я обрадовался, улыбаюсь, кричу:

— Андрюшка! Андрюшка! Шарагин!

Шарагин взял меня за ноги и поволок.

Снова в окопах. Лежу в блиндаже. Дрожит и осыпается со стен блиндажа земля. Шарагин поит меня водой, ругается:

— Дурак! Ну и дурак ты, Иван! Куда полез? Что было надо? Протестуешь? Чорт! Разве это протест! Бороться надо, а не умирать. Да-да! А так, как ты — это подлость, Ванька.

Я смотрю на Андрюшку и виновато улыбаюсь.

Была ночь. Еще не открывая глаз, я почувствовал тяжелый, одуряющий запах.

Открываю глаза. Темно. Под потолком горят керосиновые фонари. Света мало. Но можно различить, как по бараку ходят люди в белых халатах.

С трудом поворачивая голову, гляжу по сторонам. Около и вокруг меня, на грязной, издающей зловоние соломе, на шинелях, просто на земле лежат раненные. Они кричат, мечутся, воют....

Так проходит ночь. К утру раненные успокаиваются. Тихо.

Утром нас повезли на какой-то железнодорожный полустанок, для отправки в тыл.

До полустанка верст сорок. Дороги российские: кочки, ухабы. Раненых клали штабелями — чуть ли не по два ряда на телегу. Но и при таком уплотнении транспорта не хватало, человек двести особенно тяжело раненных пришлось бросить на произвол судьбы.

Раненные сначала просили ехать тише. Кричали. Потом затихли, и по грядкам телег только мертво стучались руки, ноги и головы солдат.

Когда транспорт раненных прибыл на полустанок, на телегах оказалось несколько мертвецов. Пока выгружали, умерло еще двое. Их похоронили тут же, за полустанком, в общей братской могиле. А нас, оставшихся в живых, разместили в помещении вокзала и в каких-то лабазах, где было много крыс.

Вечером нас накормили скудным ужином, перевязали раны и начали укладывать спать. Но раненные не спали. Они стонали, охали, ругались и

проклинали и жизнь, и самих себя, и все на свете.

И только Эммануил Зиновьевич, военный доктор, не падал духом. Слегка покачиваясь, он ходил между рненными, мурлыча себе под нос какую-то песенку, шутил, улыбался и всем обещал скорое выздоровление.

11

Утром, блестя зеркальными окнами и голубой краской пульмановских вагонов, к полустанку подошел санитарный поезд.

На каждом вагоне золотом букв было написано:

«РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ

Санитарный поезд имени ее величества
государыни императрицы Александры Федоровны».

Поезд стал. Бесшумно открылись двери. Из вагонов, в белых халатах, с красными крестами на рукавах и на груди, вышли милосердные сестры. За ними — врачи, санитары, поездная прислуга. Они обошли полустанок, осмотрели раненых, посоветовались с нашим врачом, и какой-то военный отдал распоряжение грузить раненых в вагоны.

Началась погрузка. Ко мне подошли двое здоровых санитаров и, улыбнувшись, подняли носилки и понесли меня в третий от паровоза вагон. Осторожно поставили. Я бегло огляделся и искренне обрадовался.

— Эх, как хорошо...

И на самом деле было хорошо. Поезд блестел чистотой. Стены вагона окрашены белой, под

лак, краской. Направо и налево — подвесные пружинные койки. На койках — чистое белье. Под потолком — электросвет...

Было непривычно и стыдно ложиться на эти чистые и мягкие постели. Но когда санитары подняли и положили меня на верхнюю койку, когда рядом со мною легли такие же, как и я, вшивые и грязные солдаты, то чувство стыда уступило место покою и наслаждению.

На полустанке ударил колокол. У раненых вырвался единый вздох:

— Поехали!

— Слава тебе, господи, поехали...

Где-то в хвосте поезда просвистел обер-кондуктор. Ему ответил гудок паровоза. Еле слышно качнулись вагоны, и поезд тихо тронулся в путь.

— Прощайте, окопы! Война — прощай!

Да. Фронт, страдания, окопы, смерть остались там... Мы едем в тыл, едем под защитой «Красного креста», под международным символом милосердия. Никто не посмеет теперь нарушить наш покой.

Фронт остался позади. Не слышно ни выстрелов, ни взрывов. За окнами вагона — зима. Снег запушил окна.

А как приятно смотреть на этот чистый, не истоптанный солдатскими сапогами и не политый кровью солдатской снег!

Едем. В вагоне покой, тишина. Клонит ко сну. Разговаривать не хочется. Только изредка кто-нибудь застонет или забормочет в бреду — и опять тихо. Только монотонно, убаюкивающе постукивают колеса на стыках да, пружинясь, покачиваются койки.

В какой-то полудремоте я прислушиваюсь к это-

му постукиванию, и вдруг до сознания внезапно доходит, что в песню колес вплеся какой-то новый, посторонний звук.

Прислушиваюсь. Что-то до жути знакомое и неприятное. Стараюсь уловить, что за звук. Ах, да! Да, да, я не ошибся: молотилки в деревнях так гудят!

В вагоне оделалась суматоха.

— Аэроплан! Аэроплан немецкий!

— Не бойтесь! Не бойтесь! — дрожит чей-то голос за перегородкой. — Нас не тронут! Наш поезд — санитарный. Он не имеет права нас тронуть. Тише! Успокойтесь... Это международный закон! Какая бы ни была война — санитарные вагоны, поезда под Красным крестом неприкосновенны.

Несмотря на красный крест, нарисованный на боках и на крышах вагонов, немецкий самолет нагнал наш поезд и бросил на полотно и на вагоны двенадцать бомб.

Мы ждали этого. Ждали долго, напряженно — и все же двенадцать громовых ударов были неожиданностью.

Поезд стал. Кое-кого из раненых сбросило с коек на пол. Многие соскочили сами и в паническом ужасе бросались к дверям. Кто-то рыдал. Кто-то ругался. Кто-то смеялся безумным смехом.

— Не надо! Не надо! Это так. Это так...

Аэроплан напал на нас, когда поезд на крутом закруглении брал подъем. Две или три бомбы попали в середину состава. Воздухом от взрыва выбило стекла — и мне сквозь худое окно была видна вся картина катастрофы.

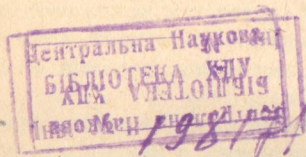
Хвост поезда — пять или шесть вагонов, битком набитых ранеными, покатился под уклон.

Забыв про рану и про опасность, я высунулся

из окна вагона и, затаив дыхание, смотрел на последний, на смертный путь своих товарищей.

Вагоны идут. Все быстрее и быстрее... Вот они добежали до поворота. Передний вагон валится на бок. Второй, вздирая вверх колеса, встал, будто конь, на дыбы. На него лезут другие... Лязг. Звон. На пути и под откосом насыпи чернела только груда обломков — бесформенных, жутких...

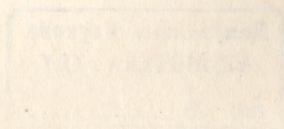
Да в сером зимнем небе пласталась серая птица, принесящая нам ужас и смерть.



Художник А. Ермаков Отв. редактор М. Колосов Тех. редактор Н. Сазонов Корректор Б. Слуцкая Уполномоченный Главлита № А. 13286 Тираж 10 000 экз. С. П. № 166 Сдана в производство 2 апреля 1939 г. Подписана к печати 1 июля 1939 г. Колич. печ. листов $5\frac{1}{2}$ Колич. печ. знаков в листе 50620 Учет.-изд. лист. 7,26 Бумага 70×90 с/м $\frac{1}{32}$ Заказ № 1061
Цена 2 р. 50 к. Переплет 1 р.

Типография газеты „Правда“ имени Сталина, Москва,
ул. „Правды“, 24.

4



Центральна Наукова
БІБЛІОТЕКА ХДУ

ІНВ. № _____

